Грызлова И.К.

Воспоминания адъютанта Наполеона — генерала Филиппа-Поля де Сегюра — один из источников романа Л.Н. Толстого в описании Бородинского сражения.

Среди многочисленных французских источников романа «Война и мир» значительное место занимают мемуары генерала — графа Филиппа-Поля де Сегюра — адъютанта Наполеона о походе французской армии в Россию.

К сожалению, их нет в домашней библиотеке Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, поэтому книга, по которой пришлось работать автору этой статьи, не содержит следов чтения писателя, но судя по иллюстрациям художников В.В. Верещагина и А.Д. Кившенко к событиям 1812 года, а главное — по предисловию виконта Мельхиора де Вогюэ, которое, как указано в комментариях книги, было его последней работой: он умер через несколько дней после окончания предисловия. Воспоминания явились одними из переизданий и вышли не ранее 1910 года[1].

Вот краткие биографические данные об авторе воспоминаний. Граф Филипп-Поль де Сегюр (1780-1873) происходил из знатного аристократического рода. В период прихода к власти Наполеона он встал на его сторону и вошел в число самых близких ему людей. Во время польского похода 1807 года он попал в плен к русским и был освобожден после Тильзитского мира. В 1812 году находился в свете Наполеона, а после падения империи Людовик XVIII вверил Сегюру преобразованную из старой гвардии кавалерию. Во время Ста дней Сегюр командовал армией, прикрывающей Рейн. После второй реставрации он оставил службу и сменил оружие на перо. Ему принадлежит несколько исторических трудов, но все они не имели того успеха, который выпал на долю его первой книги, опубликованной во времена реставрации в 1824 году под названием «История Наполеона и его Великой Армии в 1812 году». Она выдержала менее чем

за три года десять изданий, следовавших одно за другим. Ее автор был избран в 1830 году членом французской Академии, где заседал сорок три года.

Бородинское сражение, как у Толстого так и у Сегюра занимает центральное место на страницах их сочинений. Помимо воспоминаний Сегюра, Толстой использовал массу других мемуарных, исторических, эпистолярных и художественных источников в работе над романом «Война и мир». Привлечены были и подлинные документы. Но все изображено автором под определенным углом зрения, и его картины производят совсем иное впечатление, чем исторические описания того же события.

В романе Бородину посвящена 21 глава — пять печатных листов. «Благодаря поездке в Бородино Толстой ясно представлял себе местность, расположение войск, перемены позиций во время боя, начертал «в грубой форме» планы «предполагаемого сражения»[2]. В итоге анализа материалов писатель убедился, что «Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военаначальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его»[3].Толстой предупреждает, «что, вопреки историкам, Толстой будет вскрывать «ошибки военачальников» и будет восстанавливать «славу русского войска и народа». Воля автора направлена на одно: силою художественных картин и образов доказать, что Бородинское сражение «это необыкновенное, неповторяющееся и не имевшее примеров явление», и что «причины этого явления лежали в той неопределяемой силе, которая называется духом войска, в том неразумном сознании, что мы хотим и должны победить, и это неразумное сознание лежало от главнокомандующего до солдата в душе каждого русского человека»[4].

Как известно, Толстой не дает в романе описания Шевардинского сражения, предшествовавшему Бородинскому, а только упоминает о нем. Он скупо говорит о том, что 24-го *(августа. — И. Г.)* было сражение при

Шевардинском редуте, 25-го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26-го произошло Бородинское сражение» (11, 182)[5].Далее он говорит, что, «защищая Шевардинский редут 24-го числа до поздней ночи, были истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек» <...> (11, 185).

После потери Шевардинского редута, к утру 25-го числа, мы оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его, где ни попало <...> Бородинское сражение вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, т.е. в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но и немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства» (11, 187-188).

О том, что сражение было жарким, кровавым, читатель узнает из эпизода встречи Пьера Безухова по дороге из Можайска в Бородино с обозом «телег с ранеными во вчерашнем деле <...> Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах» (11, 188).

Сегюр своими записками как бы восполняет картину сражения при Шевардине, где обе стороны дрались на смерть и где русские уже снискали себе славу быть непобедимыми, хотя и вынуждены были уступить редут. «Тотчас были захвачены деревни и леса. На левом фланге и в центре — это были Итальянская армия, дивизия Компана и Мюрата; на правом фланге — Понятовский. Атака стала всеобщей, так как армия Италии и польская появились одновременно на двух крылах большой императорской колонны. Эти три массы отбросили на Бородино русские арьергарды и вся война

сконцентрировалась на одном участке. Прикрытие было снято и был открыт первый русский редут; слишком выдвинутый вперед от левого фланга их позиции, он защищал его, не будучи сам защищенным. Неровности местности должны были стать его преградой.

Компан ловко воспользовался рельефом местности, ее возвышения послужили платформой его пушкам, чтобы бить по редуту, и убежищем его пехоте, чтобы построить ее в колонны для атаки. 61-ый полк шел первым: редут был взят одним махом и в штыки, но Багратион послал подкрепления и его отбили. Три раза 61-ый полк вырывал его у русских и три раза он был отбит, но, наконец, он был удержан, весь окровавленный и наполовину разрушенный.

На следующий день, когда император делал смотр этому полку, он спросил, где же его третий батальон: «Он остался на редуте! — ответил ему полковник. Но дело не было еще закончено там: соседний лес кишел еще русскими стрелками; они выходили каждую минуту из этого логова, чтобы возобновить свои атаки, которые поддерживали три дивизии. Наконец, атака Шевардина Мораном и та, что из лесов Ельни Понятовского докончили надоевшие войска Багратиона, и кавалерия Мюрата очистила равнину. Это стало результатом упорства испанского полка, который обескуражил врагов: они уступили, и этот редут, который был аванпостом, стал теперь нашим <...>

Император стоял позади итальянской армии, на левом фланге от большой дороги; старая гвардия была построена в каре около своих палаток. Как только стрельба прекратилась, засветились огни. На своей стороне русские зажгли широкий полукруг, на нашей — огонь был бледный, неровный, разбросанный, войска прибывали поздно и впопыхах, на незнакомой местности, где ничто не было готово, где отсутствовал лес, особенно в центре и на левом фланге.

Император спал мало. Генерал Коленкур пришел с захваченного редута. Ни одного пленного не попало в наши руки, и Наполеон, удивленный, забросал его своими вопросами. «Разве его кавалерия не атаковала вовремя? А эти русские решили победить или умереть?» Ему ответили, что доведенные до фанатизма их военачальниками и привыкшие драться с турками, которые кончают своих пленных, они предпочли покончить с собой, чем сдаться противнику. Император погрузился тогда в глубокое раздумье <...>

Той же ночью начался мелкий и холодный дождь, и осень дала о себе знать сильным ветром. Это был серьезный враг, с которым надо было считаться, так как это время года отвечало возрасту, в который вступал Наполеон, а все знали влияние времен года на определенные периоды жизни человека.

Этой же ночью было столько разных волнений. У солдат и офицеров — забота приготовить оружие, починить их одежду и побороть холод и голод, так как их жизнь — постоянное сражение; генералов, даже императора занимало беспокойство, как бы наш успех накануне не обескуражил бы русских и как бы они не ускользнули в темноте. Мюрат угрожал этим предположением; много раз всем казалось, что они видят их бледнеющие огни и слышат звуки их отъезда. И только наступающий рассвет стер свет бивуачных огней врага.

На этот раз не было необходимости искать их далеко. Солнце 6 сентября осветило обе армии и показало их одну другой на том же месте, где их оставило накануне. Это была всеобщая радость. Наконец-то, прекратится эта неопределенная, вялая, притупившая наши усилия война» (S. 113-115).

«Император воспользовался первыми проблесками света утренних сумерек, чтобы, переходя с одной возвышенности на другую, осмотреть между двумя боевыми линиями весь фронт неприятельской армии.

Окончив разведку, император решился. Он вскричал: «Евгений, останемся на месте! Правый фланг начнет битву, и, как только он завладеет под защитой леса редутом, который находится против него, он повернет налево и пойдет на русский фланг, поднимая и оттесняя всю их армию к их правому флангу и к Колочу.

Составив общий план, он занялся деталями <...> Император, не сомневался больше в сражении, возвратился в свою палатку, чтобы продиктовать приказ. Там обдумал серьезность своего положения. Он увидел две равные армии: около ста двадцати тысяч человек и шестисот пушек с каждой стороны; у русских выгода расположения, один язык, одна и та же военная форма, одна нация, борющаяся за одно дело, но много нерегулярных войск и рекрутов; у французов же столько же человек, но больше солдат, а так как ему только что представили отчет о состоянии его корпусов, то у него перед глазами был точный счет сил его дивизий» (S. 116-118).

Толстой подробно изучил все действия Наполеона, все детали разработанного им плана сражения и внес в описание его подготовки к битве свою насмешливо-ироническую ноту, показывая, что в ходе сражения невозможно все предусмотреть, каким бы ни был гениальным заранее составленный план.

Толстой писал: «Весь этот день 25-го августа, как говорят историки, Наполеон провел на коне, осматривая местность, обсуживая планы, представляемые ему маршалами и отдавая лично приказания своим генералам <...>

Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в местность, сам с собой одобрительно или недоверчиво качал головой, и, не сообщая окружающим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решениями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний <...> Отдав эти и другие приказания, он вернулся в ставку, и под его диктовку была написана диспозиция сражения» (11, 215-216).

И после перечисленных пунктов диспозиции Толстой добавил: «Но в диспозиции сказано, что по вступлении таким образом в бой, будут даны приказания, соответственные действиям неприятеля, и потому могло казаться, что во время сражения будут сделаны Наполеоном все нужные распоряжения; но этого не было, и не могло быть, потому что во время сражения Наполеон находился так далеко от него, что (как это и оказалось впоследствии) ход сражения ему не мог быть известен, и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено» (11, 218).

Толстой использовал в качестве источника записки Сегюра наряду с сочинениями Тьера, Боссе, Раппа и других авторов для введения в роман такого эпизода, как присылка в ставку императора портрета его сына работы Жерара. «Случилось так, — писал Сегюр, что именно в тот день *(6 сентября. — И. Г.)* император получил из Парижа портрет Римского короля — своего ребенка, которого Империя встретила как будущего императора восторженными изъявлениями радости и надежды. С момента его рождения Наполеон ежедневно проводил некоторое время возле сына, давая волю самым нежным чувствам своего сердца. И вот теперь, когда он снова увидел этот нежный образ среди грозных приготовлений в столь далекой стране, его воинственная душа значительно смягчилась.

Он сам расположил эту картину перед палаткой, потом позвал своих офицеров и некоторых солдат старой гвардии, желая поделиться своими чувствами с этими старыми гренадерами, показать свою собственную мирную семью военной семье и заставить сиять этот символ надежды во время большой опасности» (S. 121).

У Сегюра Наполеон выступает в этой сцене как прекрасный семьянин, нежный отец. Толстой же с помощью подбора художественных средств снижает восторженное звучание сцены этого поступка и придает ему насмешливый, порицательный оттенок, показывая жалкую сущность человека, старавшегося прикрыть свое тщеславие маской доброжелательного и

заботливого военачальника и отца семейства. Вот как преобразована эта сцена в каноническом тексте романа, раскрывающем позерство Наполеона, его тщетные претензии на величие: «Со свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь — есть история <...> Глаза его отуманились <...> Посидев несколько времени и дотронувшись сам не зная для чего, до шероховатости блика портрета, он встал <...> Он приказал вынести портрет перед палаткой, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть Римского короля, сына и наследника их обожаемого государя» (11, 213-214).

Здесь Толстой не упустил и деталь, упомянутую Сегюром, о прибытии в ставку Наполеона из Испании с поля сражения в Армопилах полковника Фабвье — адъютанта Мармона, потерпевшего поражение в бою с Веллингтоном. «Император хорошо принял адъютанта побежденного генерала, — читаем мы у Сегюра. — Накануне столь неопределенной битвы он чувствовал себя расположенным снисходительно к бывшему поражению, он выслушал все, что ему было сказано о рассредоточении его сил в Испании, о многих командующих генералах и согласился во всем; но он в то же время высказал свои соображения на этот счет, которые не стоит воспоминать здесь» (S. 122).

Толстой обыграл этот момент, чтобы подчеркнуть тщеславие и самоуверенность Наполеона. «Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча то, что говорил Фабвье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как будто он и не предполагал, чтобы дело могло идти

иначе в его отсутствии. «Я должен поправить это в Москве», — сказал Наполеон» (11,212).

Немало деталей Толстой заимствовал у Сегюра, как и у других французских авторов, для описания ночи перед началом Бородинского сражения, состояния Наполеона и его армии.

«Пришла ночь, — пишет Сегюр, — а с нею и страх, что под покровом ее темноты русская армия может удалиться с поля битвы. Эта тревога прерывала сон Наполеона. Без конца он звал адъютанта, спрашивая, который час и, если вдруг слышался какой-нибудь шум, посылал посмотреть, на месте ли находится враг. Он настолько сомневался в этом, что приказал распространить свою прокламацию и прочитать ее не раньше утра следующего дня и в случае состоявшейся битвы.

Уверенность на некоторое время сменяется противоположным охватывающим его чувством беспокойства. Его глубоко волнует нужда его солдат. Как они, ослабевшие и голодные выдержат этот продолжительное и ужасное столкновение. Во всей этой опасности он рассматривает свою гвардию, как единственный ресурс. Ему кажется, что она одна стоит двух армий. Он посылает за Бессьером — одним из генералов, кому он доверяет больше всего командовать этой гвардией. Он хочет знать, не хватает ли чего-нибудь этому элитному резерву: несколько раз он напоминает об этом и возобновляет свои настойчивые расспросы. Он хочет, чтобы выдали этим старым солдатам на три дня сухарей и риса, взятых из запасных фургонов. Наконец, боясь, что его ослушаются, он снова встает и сам спрашивает у гвардейцев у входа своей палатки, получили ли они эти продукты. Удовлетворенный их ответом, он забывается коротким сном.

Но вскоре он зовет снова. Его адъютант находит его сидящим, опустив голову на руки. Кажется, что он слышит, как тот размышляет о тщетах своей славы. «Что такое слава? Ремесло варваров, где всякое искусство состоит в том, чтобы быть самым сильным в определенный момент!» Он

жалуется на непостоянство фортуны, которое, как он говорит, начинает испытывать. Потом, казалось, он возвращается к более уверенным мыслям, вспоминает, что ему было сказано о медлительности и нерадивости Кутузова, и выражает удивление, что его предпочли вместо Бенигсена. Потом он размышляет о критической ситуации, в которой оказался, и добавляет: «Какой готовится великий день какая жесткая предстоит битва!» Он спрашивает Раппа, что он думает о победе. «Она бесспорна, — отвечает ему тот, — но будет кровавая!» И Наполеон подхватывает: «Я это знаю! Но у меня 80 тысяч человек с 60-ью тысячами я войду в Москву, отставшие присоединятся к нам там, потом пехотные батальоны, и мы будем сильнее, чем перед сражением». Казалось, что он не брал в расчет ни гвардию, ни кавалерию. Потом, снова охваченный беспокойством, он посылает еще узнать, что делается у русских. Ему отвечают, что лагерные огни продолжают сиять по-прежнему, а количество подвижных теней, окружающих их, указывает, что там находится целая армия» (S. 122).

Описание ночи перед Бородинским сражением дано у Толстого исторически точно, в полном соответствии с воспоминаниями Сегюра, а также Раппа, которого неоднократно упоминает Сегюр, как дежурного адъютанта при императоре в ту ночь. Писатель переносит весь разговор с последним в окончательный вариант своего романа.

Особое место, как уже упоминалось выше, у Сегюра и у Толстого занимает описание самого Бородинского сражения. Судя по тексту романа, Толстой так же тщательно изучал записки Сегюра, как и все другие источники, касающиеся столь знаменитого исторического события. При этом писатель создал свою, художественную картину боя, называя основные редуты, флеши, атаки французских маршалов и генералов, отражение их натиска русскими войсками. Он выбирал отдельные моменты сражения, переключая их в психологическую плоскость, показывая ужасы боя через

восприятие полувымышленного героя Пьера Безухова, оказавшегося на батарее Раевского, в самом центре сражения.

«Было пять с половиной часов утра, когда Наполеон подъехал к редуту, завоеванному 5 сентября, — писал Сегюр. — Там он подождал первых проблесков рассвета и первых ружейных выстрелов Понятовского. Взошло солнце, император указал на него своим офицерам и воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» Но это солнце было не на нашей стороне; оно вставало на стороне русских и освещало нас, ослепляя нам глаза» (S. 124-125). Известно, что во время работы над страницами сражения Толстой сам на Бородинское поле в сентябрьский день битвы, изучил движение солнца, встретив как его рассвет, так и закат. Проверив правдивость источников, Толстой создал свой текст, очень близкий к историческим, в том числе к мемуарам Сегюра. Он писал: «В половине шестого, Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину. Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке <...> Вправо раздался густой пушечный выстрел» <...> (11, 224). И далее: «Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши» (11, 237).

А вот и само описание боя по Сегюру, детали которого Толстой внес в художественную ткань своего романа.

«Наконец, Ней выдвинулся вперед, и остатки его армии сделались победителями над остатками армии Багратиона.

Битва кончилась на равнине и сосредоточилась на оставшихся высотах врага против большого редута, который Барклай в центре и на правом фланге упорно защищал от принца Евгения Богарне.

К середине дня все правое французское крыло: Ней, Даву и Мюрат после падения Багратиона и половины русской армии оказались на полуоткрытом крыле остальной армии врага, откуда был виден весь его глубокий тыл вместе с оставленными позади резервами. И так все было до вечерней зари.

Но, чувствуя себя слишком ослабевшими, чтобы броситься в этот проем тыла еще очень сильной линии, они стали звать гвардию <...>

И они посылают к императору Белльяра. Этот генерал докладывает, что с их стороны беспрепятственно просматривается дорога на Можайск, тыл русской армии, что можно видеть смешавшуюся толпу беженцев, раненых и отступающих повозок, что только один овраг и лесная просека отделяет их от них <...>, что, наконец, нужен только один порыв, чтобы достигнуть центра этого беспорядка и решить судьбу армии противника и всей войны.

Однако император колеблется, сомневается и приказывает этому генералу пойти посмотреть еще раз и потом снова ему дать отчет. Белльяр, пораженный, бежит и быстро возвращается <...> Император тогда сказал Белльяру, что ничего еще не выяснено, чтобы пустить в ход резервы, что он не все ясно видит на своей шахматной доске! Это было его выражение, которое он повторял несколько раз, показывая с одной стороны старую дорогу на Москву, которой Понятовский не стал еще хозяином; с другой — атаку кавалерии врага позади нашего левого крыла; наконец, большой редут, против которого разбивались усилия принца Богарне <...>

Мюрат в четвертый раз обратился к своему свояку, жалуясь на потери <...> и просил его только о гвардии» <...> (S. 134-140).

Упоминание о неоднократных просьбах маршалов и генералов о подкреплении, о введении в бой гвардии, а также ответ Наполеона, что «теперь еще не полдень» и что он еще «не ясно видит на своей шахматной доске», Толстой повторяет на страницах своего романа (11, 240). Вместе с тем он высказывает свою точку зрения на решение Наполеона не вводить в бой гвардию, объясняя эту сдержанность императора надломленностью морального духа его армии.

«Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать <...>, упадший дух войска не позволял этого

<...> Нравственная сила французской атакующей армии была истощена» (11, 262-263).

Рисуя страшную картину боя, Толстой показывает, как меняется настроение Наполеона, надеявшегося на славную победу и встретившего не виданного ранее сопротивления противника, которое повергло его в состояние оцепенения и ужаса.

Он писал: «Известие о том, что русские атакуют новый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье <...> предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находится дело <...>

Он сел на лошадь и поехал к Семеновскому. В медленно-расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, — в лужах крови лежали лошади и люди поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве, никогда не видели еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не переставивший десять часов подряд и измучивший ухо, придавал особенную значимость зрелищу <...> Наполеон оставил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него, и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным» (11, 243-244).

Все это описание в полной мере совпадает с тем, что мы читаем у Сегюра, который изображая Бородинское поле во время и после битвы, подробно останавливается на проявлении душевных и физических страданий Наполеона.

«Было десять часов, — пишет Сегюр, Мюрат, пыл которого не погасили двенадцать часов сражения, просил еще у Наполеона кавалерию его

гвардии. «Армия врага, — сказал он, — поспешно и в беспорядке отступает к Москве; надо ее перехватить и покончить с ней!» Император отвел этот порыв чрезмерного рвения; потом продиктовал порядок следующего дня.

Те, кто не покидал его, видели, что этот победитель стольких наций, был побежден сжигающей лихорадкой и особенно этим фатальным оборотом мучительной болезни, которая возобновлялась в нем каждую минуту от слишком бурного, долгого и сильного волнения. Они же процитировали тогда эти слова, что были им написаны в Италии еще пятнадцать лет назад: «Здоровье обязательно на войне и не может быть возмещено ничем!» И это восклицание, к несчастью, оказалось пророческим, как и то, что было им произнесено на полях Аустерлица: «Измотан — значит изношен. Для войны тоже есть свои определенные годы. Я могу быть так здоров еще 6 лет, после чего я должен буду остановиться» (S. 146).

И хотя Толстой с иронией говорил в романе о плохом самочувствии Наполеона, он не мог пройти мимо этого факта. Он писал: «Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами, потому что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то и распоряжения его до и во время сражения были бы гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut etc changee» (11, 218)*.

Писатель не забыл подчеркнуть болезненное состояние Наполеона в его портрете: «Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз» (11, 246).

«В течение ночи, — читаем мы далее у Сегюра, — русские обнаруживали свое присутствие несколькими назойливыми воплями. На следующее утро тревога достигла палатки императора. Старая гвардия бросилась к оружию, как после победы встала во фронт. Армия оставалась неподвиж-

* и облик мира изменился бы (фр.)

ной до полудня. Впрочем, это не была уже армия, а только один ее авангард. Ее остаток рассеялся по полю сражения, чтобы подобрать раненых. Их было двадцать тысяч. Их относили на расстояние двух лье в большой Колоцкий монастырь.

Главный хирург Ларрей тотчас взял себе помощников из всех полков. К ним присоединились полевые госпитали, но всего этого было недостаточно <...>

Император тем временем объезжал поле сражения. Никогда еще ни одно поле не имело столь ужасного вида. Все соответствовало этому впечатлению: темное небо, холодный дождь, сильный ветер, сожженные жилища, перевернутая равнина, покрытая обломками и трупами; на горизонте печальная, потемневшая зелень деревьев Севера; повсюду солдаты, блуждающие среди трупов и ищущие съестное в мешках своих погибших товарищей <...> Молчали бивуаки: не было больше песен, разговоров, одно мрачное молчание. <...>

Французские солдаты вовсе не ликовали победу, они удивлялись, видя такое множество убитых врагов, большое количество раненых и так мало пленных. Последних не было и восьмисот! А ведь по их количеству обычно судят об успехе. Мертвые доказывали храбрость побежденных больше, чем победу. И если оставшиеся отступили в столь правильном порядке и так мало обескураженные, кто же тогда одержал верх на поле сражения? <...>

В этой массе трупов, по которым надо было ступать, чтобы следовать за Наполеоном, нога одной лошади наступила на раненого, вырвав у него болезненный крик — последний признак жизни. Император, до сих пор молчаливый, угнетенный при виде стольких жертв, не сдержался, облегчив свою душу криками возмущения и требованиями внимания и забот по отношению к этому несчастному. Кто-то с тем, чтобы успокоить его, позво-

лил себе заметить, что это был всего лишь русский солдат, но император живо перебил его: «Не бывает врагов после боя, есть только люди!»

Потом он разогнал офицеров, которые следовали за ним, чтобы они помогли тем, чьи крики они слышали со всех сторон»(S. 146-148).

И как бы продолжением к этому тексту Сегюра звучит вывод, сделанный Толстым в романе на основе фактов, данных в мемуарах: «Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения, тяжесть головы и груди напомнили ему о возможности и для него страданий и смерти.

Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы» (11, 256-257).

Глазами очевидца Сегюр так описывал страшную картину поля после боя:

«Их *(раненых. — И. Г.)* много находили особенно в глубине оврагов, куда устремилась большая часть наших и куда многие тащились, чтобы найти убежище от врага и от урагана. Они произносили, стоная, имя своей родины или матери. Это были наиболее молодые солдаты. Те, кто постарше, ждали смерть с безучастным или ядовитым видом, без мольбы и жалоб; другие просили, чтобы их убили здесь на поле; но все проходили мимо этих несчастных, не имея ни бесполезного сострадания для помощи, ни жалости, чтобы прикончить их.

Один из них, наиболее изувеченный (у него был только торс и одна рука), показался настолько оживленным, настолько полным надежды и даже веселым, что его решили спасти. Перенося его, заметили, что он жаловался на боли в членах, которых у него больше не было. Это бывает обычно у многих, что является новым доказательством тому, что душа

остается цела и что ей только принадлежит чувство, а не телу, которое не может более чувствовать и думать.

Здесь мы заметили русских, тащившихся до мест, где скопление тел могло им дать какое-то, хотя и ужасное убежище.

Многие утверждают, что один из этих несчастных прожил несколько дней в трупе одной лошади, развороченной ядром, где он грыз ее внутренности.

Среди них мы видели такого, который выпрямлял разбитую ногу, крепко привязывая к ней ветку дерева, потом, помогая себе другой веткой, шел таким образом до самой ближайшей деревни. Он не издавал ни единого стона. Может быть, находясь далеко от своих близких, они менее всего рассчитывали на жалость, но было очевидно и то, что они оказались более стойкими, нежели французы» (S. 148-150).

Заключение, данное Толстым в конце Бородина, вполне могло быть отнесено к воспоминаниям Сегюра и другим сочинениям, использованным писателем для создания столь грандиозной картины боя: «Над всем полем, прежде столь весело-красивом, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странною кислотою селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь! Что вы делаете?»

Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение в том, следует ли еще истреблять друг друга, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало» (11, 261).

Здесь еще раз Толстой утверждал свою антивоенную точку зрения, высказанную им в самом начале описания событий 1812 года, о том, что «война — противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (11, 3).

Примечания

[1] Название книги, по которой работал автор статьи: «Поход в Россию. Записки генерала графа де Сегюра (адъютанта Наполеона)». Париж. Б. Г.

La campagne de Russie. Mémoires du Jénéral C-te de Segur (Aide de Camp de Napoléon) de l' Académie française. Paris *Nelson, Editeurs 61, rue des Saints-Péres, S.A.*

Все выдержки из этой книги даются в переводе с французского языка автора этой статьи. Номера „страниц указываются в тексте в скобках после приводимых цитат со знаком S. (Segur).

[2] *Зайденшнур Э. Е.* «Война и мир» Л.Н. Толстого. Создание великой книги. М. 1966. С. 354-355.

[3] Там же.

[4]Там же.

[5] Все цитаты из текста романа Л.Н. Толстого «Война и мир» даны по юбилейному 90-ному собранию сочинений Л.Н. Толстого. В тексте статьи после цитат указываются в скобках том и страница.